Собачье-сердечные заметки

К 70-летию со дня смерти Шарикова

Собственно говоря, можно праздновать сразу три семидесятилетия: со дня его рождения, со дня смерти и самой повести Булгакова «Собачье сердце», начатой в январе, а оконченной в марте 1925 года. В России повесть легализовало «Знамя» (1987, № 6), и за восемь лет текст, подобно тексту «Горя от ума», вошел в материю мышления и речи, став одним из кодов описания нашей социальной реальности, по-прежнему легко моделируемой в терминах «профессор Преображенский», «Шариков», «Швондер», «взять все, да и поделить» и «разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?». Актуальными, правда, стали и иные коды (типа «Боливар не выдержит двоих») и многие другие формулы О.Генри, описавшего молодой разбойничий капитализм САСШ), о «собачье-сердечный» все равно важен.

Булгаков не дал умереть Шарикову: забальзамировал, положил в мавзолей, около которого мы стоим, как в карауле. Зря социологи обвиняют интеллигенцию в попытках подражательной цитации «проблем», в том, что у интеллигенции нет развитых интеллектуальных средств для моделирования сегодняшней реальности, а интерпретация нового сводится к «нахождению характерной аналогии» (Гудков Л., Дубин Б. Идеология бесструктурности. — «Знамя», 1994, № 11, стр. 167, 175).

Специфика самой российской реальности заключена в репродукции постоянного набора типов и отношений. Шариков вечен, хотя сейчас у него иные идентификаторы («мерседес», мегафон, свастика) и другие речи. Но «подотдел очистки города Москвы от бродячих животных» не может умереть и потому принимает любые формы, лишь бы сохранился. Игра в людей продолжается. Формула Преображенского «разруха не в клозетах, а в головах» декларирует первичность сознания по отношению к бытию (и, стало быть, самый густой идеализм) и объясняет сегодняшнюю «реформу» (шаг вперед, два шага назад) так же хорошо, как покражу галаш с лестницы в 1917 году и наметившийся уже в начале 1925 года кризис новой экономической политики. 5 января Булгаков записал в дневнике: «Какая-то совершенно невероятная погода в Москве — оттепель, все распустилось и такое же точно, как погода, настроение у москвичей. Погода напоминает февраль, и в душах февраль».

— Чем все это кончится? — спросил меня сегодня один приятель. Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично...»

Булгаков, внимательно следя за развитием политической интриги на кремлевском Олимпе, за борьбой с Троцким (фигура Сталина для него еще незаметна), ощущает: все ненадежно, экономические новации надоели адептам мировой революции, не подкреплены изменениями политической структуры. Отсюда страх. «Предо мной неразрешимый вопрос. Вот и все», — заключает писатель ночью 25 февраля. Вопрос вечный, русский: куда деваться? уезжать или приспособливаться? становиться эмигрантом или приспособленцем, Буниным или Катаевым? Страх, неуверенность, бравада — все вошло в «Собачье сердце», сохраняя его кодовую универсальность по сей час.

Повесть погружена в ароматный газетно-бытовой контекст 1924 — 1925 годов. Он неплохо изучен, хотя всякого рода пересечения и сходства можно открывать и открывать.

«В царичинской губернской контрольной комиссии недавно разбиралось дело члена царичинской организации Михаила Шарикова. Михаил Шариков в партии с Октябрьской революции, но беда в том, что Михаил Шариков окружен чуждой для коммуниста средой родственников-спекулянтов» (Кунин Д. Разговор по душам. — «Правда», 1924, 15 окт.).

21 марта 1925 года «Вечерняя Москва» опубликовала заметку некоего Д. «Проблемы жизни и смерти», в которой сообщалось об отрезанной и оживленной собачьей голове (ср. у Булгакова: «Что в Москве творится — уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики»).

Есть связи и более завуалированные. Одним из прототипов проф. Преображенского был проф. Кольцов, занимавшийся в Москве проблемой омоложения «по Воронову». Фраза из повести о потере веса у тех, кто читает «Правду», сентенция: «Есть нужно уметь, а представьте себе, большинство людей вовсе есть не умеют», — отсылают к статье Кольцова «Об изменении веса человека при неустойчивом равновесии» (Изв. Ин-та экспериментальной биологии. Вып. 1. М., 1921. с. 28 — 29). Статья основана на самонаблюдениях профессора, вычислившего влияние на вес тела душевных переживаний. 16 августа 1920 года Кольцов был вызван в качестве обвиняемого по делу «Тактического центра» в Верховный трибунал и арестован. Исходный вес составлял 3 пуда 28 1/2 фунта — до утра 19 августа. Вечером этого дня «после речи обвинителя, требовавшего смертной казни для 4 обвиняемых и более или менее длительного заключения для остальных, я был арестован и провел ночь в Особом отделе ВЧК». 20 августа в 23 часа Кольцова приговорили к расстрелу, после чего сразу освободили. Дома профессор взвесился и обнаружил потерю 5 фунтов. «За это время мною было съедено ок. 1 1/4 ф. хлеба, 8 яиц, 1/4 ф. творогу, 1/8 ф. сахару, 2 бутылки молока, ок. 1 ф. яблок... Отправления были вполне нормальны». Вывод в повести: «Нужно не только знать — что съест, но и когда и как».

Булгаков был внимательным читателем, речи Филиппа Филипповича куда более литературны, чем можно предположить. Его гедонизм целиком заимствован из книги Ж.М. Гюйо «Нравственность без обязатель-

ства и без санкции» (М., 1923), изданной московским союзом анархо-синдикалистов. Главной целью живого существа в этой книге было названо стремление «сохранить и умножить жизнь». Цель жизни — сама жизнь, а нравственный идеал — это «активность во всем разнообразии ее проявлений» (с. 51 — 52).

Полемика Булгакова с идеями Гюйо — один из самых интересных аспектов повести. На поверхности лежит сатирический антипролетарский сюжет, из-за которого повесть шестьдесят два года запрещала цензура. Но главное содержание глубже: тема западни и ТРАГИЧЕСКОЙ ВИНЫ интеллигента, попадающего в объятия «Софьи Владимировны» (так именовали советскую власть).

Впоследствии тема вины исчезла вовсе, новым людям она была непонятна, ее почти не найти в литературе. Лишь иногда, скажем, у Лидии Гинзбург промелькнет размышление, сформулированное в старых терминах: «Х. уверял, что в определенных исторических ситуациях только негодия могут сделать хорошее (если хотят). Потому что они обладают властью» («Всемирное слово», 1994, № 7, с. 19). Смысл, кстати, тот же самый, что и в эпиграфе к «Мастеру и Маргарите», повторившему мысль из «Послания к римлянам Св. ап. Павла»: «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят?..» Начиная с 1924 года Булгаков думал о вине за неизбежность зла постоянно.

По Гюйо, «наказание достойно порицания, как и само преступление, а тюремные учреждения не имеют большей моральной ценности, чем те, которые заключены в них... Абсолютно говоря, к жестоким людям-зверям, как и к прочим существам, должно относиться снисходительно, милосердно. В моральном смысле эти люди достойны сожаления, независимо от того, свободна ли или несвободна их жестокость».

Эту программу и пытается реализовать Филипп Филиппович («никого драть нельзя»), но не выдерживает и он: этическая парадигма народолюбия XIX века рушится; Булгаков заставляет своего героя прибегнуть к «варварским методам борьбы». Отсюда и вина — за предательство идеалов, что для человека XIX века было гораздо более серьезным преступлением, чем оказалось позже.

Но это был и один из «неразрешимых вопросов», стоявших перед Булгаковым в начале 1925 года: удастся ли выжить, соблюдая традиционные гуманистические постулаты, выраженные в заостренной форме тем же Гюйо? Как поступать, стремясь выжить и в

то же время желая сохранить себя как этический индивид? Может ли негодия сделать крошечной?

Вопросы были принципиально неразрешимыми, смятение и подавленное состояние писателя в повести угадывается, несмотря на комизм эпизодов и водевильную легкость изложения. «Русский немец» Борменталь («бор» — стальное сверло) легко решался на жестокость, увлекая за собой своего учителя; в характере Борментала угадываются смягченные черты культурного типажа, созданного антинемецкой пропагандой 1914 — 1915 гг.: «Немец, заменивший Христа — Лютером, государство — казармой, немец нагло-самоуверенный и садически сентиментальный, отождествивший женщину с кухаркой, кофе с цикорием и пиво с вином, —... немец, нищий духом и богатый телом...» (имеется в виду тупая физическая сила).

Булгаков, вынужденный соглашаться не с Преображенским, а именно с Борменталем, с неприятным чувством задумывается о неразрешимости этических коллизий, о дефектах русских императивов. Как писал Бердяев в «Судьбе России», немец должен презирать русского человека за то, что тот не умеет достигать возможного. Преображенский, не умея (и не желая) достигнуть возможного, совершает невозможное — уникальную операцию, приводящую к катастрофе. В этом суть аналогии между операцией Преображенского и экспериментом большевиков: результат чудовищен, но борьба с ним заведомо несет зло самому борцу и разрушит его личность, разрушит то лучшее, что — как считалось — создала в себе интеллигенция. Отсюда ощущение безвыходности. Не лучше ли убраться вообще? Булгаков запутался, в итоге остался, отметив повестью пик сомнений и фрустрации и перевернув образ человека из народа, пролетария, которому рукоплескали десятилетия.

«Варвары ли пролетарии или культурные люди? Грозят ли они цивилизации и культуре разгромом? Конечно, нет — верещали еще недавно на все лады. — Если рабочие и напоминают чем-либо сил... их варваровоинов, то только вспышками своей мощной энергии. Но нельзя отождествлять последнюю с силой, стремящейся разрушить культуру человечества» (Карелин А. К вопросу о психике пролетариев. — «Современник», 1912, кн. 3. с. 294).

Прошло пять лет, и перевернулось все, в том числе и это. Булгаков ненавидит не только Шарикова и Клима Чугункина, но и всю ситуацию, когда разрушилась социальная иерархия, сломались законы и он должен тренировать свою мораль и бороться с искушением стать убийцей в вонючей коммуналке, на острове посреди самогонного озера.

Поддержал Булгаков только одну традицию: животное Шарик символизирует добро, а зло — только человек. Профессора Преображенского, который многим в 1987 году показался выставленным в музее «формальным» интеллигентом, Булгаков тоже не любит.